

A detailed oil painting of an older man with a serious expression. He has deep wrinkles on his forehead and around his eyes. He is wearing a dark blue suit jacket over a light-colored shirt and a dark red, patterned tie. The background shows a bookshelf filled with books and a brown leather armchair.

Валерий Антонов

**Анатомия лжи.
Книга 2**

Валерий Антонов

Анатомия лжи. Книга 2

<https://litres.ru/74254317>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Анатомия лжи» — вторая часть романа о следователе К., который умер на трибуне, заключил сделку с Богом и вернулся на Лубянку с единственным условием: не лгать.

1937 год. Метод К. — отличать правду от лжи без пыток — работает, но система сопротивляется. Пока Безродный плетёт заговор, а Ежов требует цифры, через кабинет К. проходят тени расстрелянных поэтов. Мандельштам, Мейерхольд, Бабель, безымянный генерал, Пастернак — каждый оставляет свой след в сейфе следователя.

Если первая книга была вопросом «Что есть правда?», то вторая — это ответ: правда существует, даже когда бессильна. Она ждёт. В сейфе. В протоколах. В памяти.

Содержание

Пролог. Промежуток.	4
Часть вторая. Анатомия лжи.	7
Глава 16. Новая должность, или Кабинет с окном во двор	7
Дело № 1874. Шпионаж	16
Дело № 1875. Вредительство на железной дороге	17
Дело № 1876. Антисоветская агитация	18
Дело № 1877. Шпионаж	19
Дело № 1878. Контрреволюционная организация	20
Глава 17. Слухи, или Эпидемия честности	24
Глава 18. Конкуренты, или Пир во время чумы	34
Глава 19. Подставной, или Человек, который умел врать.	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Валерий Антонов

Анатомия лжи. Книга 2

Пролог. Промежуток.

Он вернулся с того света не один.

Вернее, он вернулся один — но принёс с собой условие. Условие, которое звучало просто, как пароль, как приказ, как приговор: «Одна ложь — и ты снова здесь. Навсегда. Без права пересмотра дела. Без кассаций. Без апелляций».

К. помнил этот голос. Он помнил комнату с серыми стенами, лампу с зелёным абажуром, портрет, на котором был не то Бог, не то Сталин, не то оба сразу. Он помнил дым, который поднимался к потолку и замирал там, не рассеиваясь, как будто передумал исчезать. Он помнил лицо Бога — уставшее, как у бухгалтера, который всю жизнь перебирал бумаги и никогда не держал ничего тяжелее карандаша.

И он помнил, как Бог сказал: «Возвращайтесь. И помните: одно слово лжи — и всё. Ад. Вечность. Без права переписки».

Теперь К. сидел в новом кабинете на четвёртом этаже Лубянки. За окном строили тюрьму — бетономешалка вращалась, лопаты врезались в песок, голоса рабочих перекрывали гул мотора. Стены росли. Лубянка строилась. Лубянка гото-

вилась принять новые тысячи.

На столе лежала скрепка — целая, блестящая, с двумя идеальными овалами. Бесконечность, замкнутая в металле. Он взял её. Сжал. Боль была настоящей. Единственная правда в этом мире.

В дверь постучали. Два коротких, один длинный.

— Войдите.

Вошла машинистка М. В руках — стопка папок, перевязанная бечёвкой.

— Дела, товарищ К. Сорок семь штук за последнюю неделю.

— Сорок семь?

— Сорок семь. И это только по вашему сектору. Всего по отделу — двести шестнадцать.

К. посмотрел на папки. Сорок семь жизней. Сорок семь судеб. Сорок семь протоколов, в которых правда и ложь перепутаны, как нитки в клубке.

— Оставьте, — сказал он.

М. положила папки на стол. Но не ушла. Стояла, глядя на него.

— Что? — спросил К.

— Ничего, — сказала она. — Просто смотрю. Вы изменились, товарищ К. Раньше вы боялись. Теперь — нет.

— Я перестал бояться, когда умер, — сказал К. — Там, на трибуне. Потом меня воскресили. Но страх не воскрес. Он остался там. В чистилище. Вместе с трубкой и портретом.

М. чуть заметно улыбнулась — уголком рта.

— Тогда работайте, — сказала она. — Правда не ждёт.

Она вышла. К. остался один.

Он открыл первую папку. Дело № 1874. Шпионаж. Инженер завода «Красный пролетарий». Признание, выбитое за три дня без сна. Ни одного свидетеля. Ни одной улики. Только подпись — дрожащая, едва разборчивая.

Он взял карандаш. Написал на полях: «Признание не подтверждено. Отправить на доследование».

Потом открыл вторую папку. Третью. Четвёртую.

Работа началась.

Где-то далеко, в месте, которое не нанесено ни на одну карту, сидел человек с трубкой. Перед ним лежала папка с грифом «Хранить вечно». В папке было всего одно слово — «Знаю». Он прочитал его. Закрыв папку. Закурил.

И дым поднялся к потолку и замер там. Не рассеялся. Не исчез. Просто ждал.

Как правда.

Часть вторая. Анатомия лжи.

Глава 16. Новая должность, или Кабинет с окном во двор

Переезд состоялся на следующий день после возвращения из Кремля.

К. проснулся в семь утра — не от будильника, которого у него не было, а от звука. Строительный грохот доносился откуда-то снизу, просачиваясь сквозь пол и стены, как подкожная дрожь. Бетономешалка перемалывала гравий, лопаты врезались в песок, голоса рабочих перекрывали гул мотора. Лубянка строилась. Лубянка росла. Лубянка готовилась принять новые тысячи.

Он лежал на койке — всё той же, казённой, с продавленным матрасом, — и смотрел в потолок. Трещин было три. Вчера было две. Или всегда было три, просто он не замечал. Он поднялся. Умылся холодной водой из-под крана — вода пахла ржавчиной и хлоркой, и этот запах был единственной правдой в этом утре. Надел китель — тот самый, в котором ездил в Кремль. Верхняя пуговица застегнулась легко, без сопротивления, как будто тело наконец привыкло к этой форме. Проверил карманы. В левом — пропуск, уже не нуж-

ный. В правом — сломанная скрепка, два острых конца, два вопросительных знака без точек. Он выбросил её в корзину и тут же пожалел. Но возвращать не стал. Пусть будет.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал К.

Вошёл вестовой — паренёк лет восемнадцати, с испуганными глазами и дрожащими руками. Он был в новенькой гимнастёрке, которая висела на нём мешком, и сапогах, которые были ему явно велики. Он вытянулся у двери и щёлкнул каблуками.

— Товарищ К.! Вам выделен новый кабинет. Четвёртый этаж. Приказ о переводе подписан. Вещи уже перенесли.

— Кто переносил?

— Не могу знать. Приказано — сделано.

К. кивнул. Он не спрашивал, кто переносил. Не хотел знать.

Новый кабинет был на четвёртом этаже, в крыле, которое раньше занимал архив. Запах здесь был другой — не карболка и махорка, а пыль, старая бумага и клей, которым недавно оклеили стены. Обои были свежие, ещё не успевшие впитать в себя время. На них не было трещин. Не было карт несуществующих рек. Только гладкая, равнодушная поверхность, которая через год станет жёлтой и влажной, а через пять — начнёт отслаиваться, обнажая штукатурку.

К. остановился у порога. Кабинет был раза в полтора больше прежнего. Стол — массивный, красного дерева, с зелё-

ным сукном, которое ещё не успели залить чернилами и табачным пеплом. На столе — телефон, чернильница, три папки с делами, чистый бланк протокола, лампа с зелёным абажуром. Справа — стеллаж с папками. Слева — сейф, открытый, пустой. У стены — три стула. Два для посетителей. Один — для него.

Окно выходило во внутренний двор. К. подошёл к нему и остановился. Стекло было мутное, давно не мытое, с разводами, похожими на карты неоткрытых континентов. За окном кипела стройка. Фундамент нового здания — «нового следственного корпуса», как пояснил вестовой, — заливали бетоном прямо сейчас. Густая серая масса текла по деревянным опалубкам, расплзалась, застывала. Рабочие в промасленных робах месили раствор лопатами, кричали друг на друга, матерились. Кто-то курил, сидя на бетономешалке. Кто-то таскал носилки. Гул стоял такой, что стекло вибрировало.

К. смотрел и думал: они строят его будущую тюрьму. Или не его — тех, кто придёт после. После Сталина. После Ежова. После всех. Здание будет стоять сто лет — дольше, чем люди, которые в нём сидят. Бетон помнит всё. Бетон не лжёт.

В дверь постучали. Два коротких, один длинный.
— Войдите.

Вошел лейтенант. Молодой — К. мог бы дать ему лет двадцать пять, не больше. Глаза — восторженные, почти детские, с тем особым блеском, который бывает у людей, ещё не

видевших, как умирает правда. Он был в новом кителе, с новым удостоверением, с новым значком НКВД, который поблёскивал на лацкане. Волосы зачёсаны назад, пробор ровный, как по линейке. Он вытянулся у двери и щёлкнул каблуками.

— Товарищ К.! Лейтенант Петров, назначен вашим помощником по приказу майора Гнилозубова!

К. молча смотрел на него. Петров не моргал. Смотрел в ответ — не дерзко, а преданно. Так смотрят собаки, которые ещё не знают, что их будут бить.

— Здравствуйте, лейтенант. Садитесь.

Петров сел на стул для посетителей — сел ровно, положив руки на колени, как школьник на экзамене.

— Чай будете, товарищ К.? Я принёс. Кипяток, заварка, сахар — всё есть.

— Нет.

— Может, воды?

— Нет.

— Может, папиросу?

— Я не курю, лейтенант.

Петров кивнул и замолчал. Потом, не выдержав паузы, начал говорить. О том, как он мечтал работать в НКВД. О том, как учился в школе, как слушал лекции, как цитировал Сталина на экзаменах. Он говорил быстро, сбивчиво, с той особой восторженностью, которая заменяет людям мысль. Он цитировал «Краткий курс истории ВКП(б)», речь на XVIII

съезде, приказ № 00447. Он знал всё. Он не понимал ничего.

К. слушал его и думал: через год этот парень подпишет первый расстрельный список. Без сомнений. Без вопросов. Потому что он будет делать то, что скажут. Потому что он выучен не сомневаться. Потому что он — функция, ещё не осознавшая себя как функцию.

— Лейтенант, — перебил К. — Вы знаете, что такое правда?

Петров замер. Открыл рот. Закрыл.

— Правда? — переспросил он. — Ну... это... как у Сталина. Правда — это то, что соответствует партийной линии. Так нас учили.

— А если партийная линия меняется? Правда тоже меняется?

Петров моргнул. На его лице появилось выражение растерянности — как у человека, которому задали вопрос из другой вселенной.

— Я... я не знаю, товарищ К. Но я верю, что Сталин всегда говорит правду.

— Верьте, — сказал К. — Только не путайте веру с истиной. Это разные вещи. Вера — это когда вы закрываете глаза. Истина — когда вы открываете.

Петров не понял. Но кивнул. Он будет понятливым, но бесполезным. Таким, кто через год подпишет любой расстрельный список, потому что не задаст лишних вопросов. Потому что для него не существует разницы между правдой

и ложью — есть только приказ.

— Идите, лейтенант. И принесите мне списки нераскрытых дел за последний квартал. Все. Без исключений.

— Слушаюсь.

Петров встал, вышел. Дверь закрылась за ним без щелчка — плохо пригнанная, казённая дверь, которая уже начала рассыхаться.

К. остался один. Он сел за стол. Положил руки на зелёное сукно — шершавое, холодное, пахнущее новизной и клеем. Снял трубку телефона. Покрутил диск. Положил обратно. Не звонить. Не сейчас.

В дверь снова постучали. Теперь — знакомый стук. Два коротких, один длинный.

— Войдите.

Вошла машинистка М. В руках — стопка папок, перевязанная бечёвкой. Лицо — всё та же сушёная вобла, но в глазах — что-то новое. Не улыбка. Не жизнь. Просто — внимание.

— Доброе утро, товарищ К. Принесла дела. Четвёртый отдел УГБ УНКВД Московской области. Сорок семь штук за последнюю неделю.

— Сорок семь?

— Сорок семь. И это только по вашему сектору. Всего по отделу — двести шестнадцать.

К. посмотрел на папки. Они громоздились на столе, стопками по пять, по шесть, по семь штук. Дела. Чьи-то жизни.

Чьи-то смерти. Чьи-то признания, выбитые зубами. Чьи-то молчания, которые уже никогда не станут словами. Каждая папка — кипа бумаг. Каждая бумага — протокол. Каждый протокол — приговор. Или оправдание. Или ничего.

— Садитесь, М., — сказал К.

— Я постою.

— Сядьте.

Она села. На стул для посетителей — как в прошлый раз. Прямая, неподвижная. Руки на коленях.

— Как у вас дела? — спросил К.

— Хорошо, товарищ К. А у вас?

— Не знаю.

М. чуть заметно улыбнулась — уголком рта, как Человек в штатском, но по-другому. Не как Харон. Как человек.

— Вы сегодня другой, — сказала она.

— Какой?

— Уставший. И спокойный. Это странно. Обычно усталость и спокойствие — не вместе. А у вас вместе.

К. посмотрел на неё. Она была права. Он чувствовал себя так, как будто прожил три жизни — и все три закончились в этом кабинете. Усталость была глубокая, как колодец, в котором нет воды. Но внутри неё была тишина. Та самая тишина, о которой говорил Философ. Тишина, которая наступает, когда перестаёшь задавать вопросы и просто живёшь.

— М., вы верите в Бога? — спросил он.

— Не знаю, — ответила она. — А вы?

— Я видел Его.

— И что?

— Он был похож на Сталина. Или Сталин был похож на Него. Или я не разобрал.

М. помолчала. Потом сказала:

— Может, это одно и то же, товарищ К. Может, Бог — это просто должность. А Сталин — это тот, кто её занимает. Пока занимает.

К. кивнул. Он хотел спросить, откуда она это знает — но не стал. Иногда лучше не знать. Иногда правда убивает раньше, чем пуля.

— Оставьте дела, — сказал он. — Я разберусь.

— Хорошо. Я приду вечером — забрать протоколы. Ежов требует отчёт по каждому делу.

— Отчёт?

— Да. Кто виновен. Кто нет. И почему. Срок — завтра утром.

К. посмотрел на сорок семь папок. На сорок семь жизней. На сорок семь судеб, которые нужно разобрать за один день. Или за одну ночь. Или за вечность, которой у него не было.

— Я справлюсь, — сказал он.

— Я знаю, — сказала М. — Вы всегда справляетесь. Вопрос не в том, справитесь ли вы. Вопрос в том, сможете ли вы остаться собой.

Она встала. Поправила юбку. Пошла к двери. У порога остановилась.

— Скрепку не забудьте, — сказала она. — Она всегда пригождается. Когда сшиваешь дела.

— Не забуду, — сказал К.

Она вышла.

К. остался один — наедине с сорока семью папками. Он открыл первую.

Дело № 1874. Шпионаж

Инженер завода «Красный пролетарий». Арестован 15 марта 1937 года. Обвинение — передача секретных сведений иностранной разведке. В деле — протокол допроса от 16 марта, подписанный следователем Сорокиным. Почерк Сорокина был мелкий, испуганный — буквы бежали вправо, спотыкались, падали друг на друга. К. знал этот почерк. Он видел его на десятках протоколов.

«Вопрос: Признаёте ли вы себя виновным в шпионаже? Ответ: Признаю. Вопрос: Кому вы передавали сведения? Ответ: Я не знаю. Ко мне подошёл человек. Он назвал пароль. Я передал ему чертежи».

К. перелистнул страницу. Ни одной очной ставки. Ни одного свидетеля. Только подпись — дрожащая, едва разборчивая. И пометка Сорокина: «Сознался. Дело передать в особое совещание».

К. взял карандаш. Написал на полях: «Признание не подтверждено. Отправить на следствие».

Дело № 1875. Вредительство на железной дороге

Угрюмый мужик с гаечными ключами. Арестован 2 апреля 1937 года. Обвинение — умышленное повреждение путей, повлёкшее крушение товарного состава. В деле — акт осмотра места происшествия: «Обнаружено ослабление болтов на стыке рельсов. Характер повреждений указывает на преднамеренный характер». И протокол допроса: «Вопрос: Признаёте ли вы себя виновным? Ответ: Не признаю. Я работал на этом участке тридцать лет. Я не мог такого сделать».

Тридцать лет. К. посмотрел на дату рождения — 1885 год. Пятьдесят два года. Из них тридцать — на железной дороге. И ни одного взыскания. Ни одного выговора. Только благодарности и премии.

Он перелистнул страницу. Дальше — протокол второго допроса, от 5 апреля. Почерк Сорокина стал более дёрганым. На полях — пометка: «Упорствует. Рекомендовано усилить меры».

К. знал, что это значит. «Усилить меры» — эвфемизм. На языке Лубянки это означало: бить. Бить до тех пор, пока не признается. Или до тех пор, пока не умрёт.

Он написал на полях: «Недостаточно доказательств. Вернуть в следственную часть».

Дело № 1876.

Антисоветская агитация

Женщина. Тридцать два года. Домохозяйка. Арестована по доносу соседей. В деле — заявление, написанное на тетрадном листе: «Гражданка Петрова неоднократно высказывала недовольство советской властью. Говорила, что при царе жилось лучше. Говорила, что коммунисты обманывают народ».

К. перевернул страницу. Протокол допроса. Почерк — не Сорокина, другой, молодой, неуверенный. Следователь — лейтенант Панормов. Тот самый, которого через месяц уволят за халатность.

«Вопрос: Признаёте ли вы себя виновной? Ответ: Не признаю. Я ничего такого не говорила. Соседи врут».

К. написал: «Дело основано на показаниях одного свидетеля. Провести очную ставку. При отсутствии подтверждения — прекратить».

Дело № 1877. Шпионаж

Бывший военный. Арестован 10 апреля 1937 года. В деле — справка из военной коллегии: «Подследственный исключён из партии в 1935 году за связь с троцкистами». И протокол допроса, подписанный следователем Сорокиным.

«Вопрос: Признаёте ли вы себя виновным? Ответ: Признаю. Я был завербован германской разведкой в 1934 году. Вопрос: Кто вас завербовал? Ответ: Я не помню. Ко мне подошёл человек в штатском».

Человек в штатском. К. отложил ручку. Он знал одного Человека в штатском. Тот курил папиросы и говорил о природе власти. Но этот — другой. Этот — фантом. Фикция. Удобная фигура, которую можно вставить в любой протокол.

Он написал: «Признание шаблонное. Детали отсутствуют. Отправить на доследование».

Дело № 1878.

Контрреволюционная организация

Профессор Московского университета. Арестован 20 апреля 1937 года. Обвинение — участие в контрреволюционной организации, готовившей покушение на Сталина. В деле — протокол допроса на четырёх страницах. Профессор признался. Он назвал имена. Он описал структуру организации. Он рассказал, как они планировали убить Вождя.

К. читал протокол и чувствовал, как внутри него — там, где раньше была уверенность, — появляется что-то новое. Не страх. Не отвращение. Узнавание.

Почерк Сорокина на этих страницах был не испуганным. Он был лихорадочным. Буквы наползали друг на друга, строки загибались книзу, кляксы расплзались по бумаге. К. узнал этот почерк. Он сам писал так — в прошлой жизни. В той, что кончилась на трибуне. Так пишут следователи, которые узнали что-то. Что-то, что не укладывается в протокол. Что-то, что они пытаются записать, пока не забыли.

Он перелистнул последнюю страницу. Внизу, красным карандашом, было подчёркнуто трижды: «ЗНАЕТ».

К. отложил папку. Руки его не дрожали. Сердце билось ровно. Он смотрел на слово «ЗНАЕТ» и думал о Философе. О том, как тот сказал: «Правда — это то, что остаётся, когда

заканчиваются слова». О том, как Сталин сказал: «Знаю». О том, что это слово — не ответ. Это отмена вопроса.

Он взял карандаш. Написал на полях: «Дело прекращено. Улик недостаточно. Профессора освободить».

Это было против системы. Против приказов. Против логики. Но К. уже не мог иначе. Потому что правда — это не просто отсутствие лжи. Правда — это когда ты говоришь то, что боишься сказать. Даже если за это расстреливают.

Он работал до вечера. Чай, который принёс Петров, остыл. Свет за окном сменился с серого на тёмно-серый. Потом на чёрный. Потом снова на серый — утро следующего дня.

К. не спал. Он прочитал сорок семь дел. Сорок семь протоколов. Сорок семь судеб. И на сорок седьмом деле он остановился.

Дело № 1921. Шпионаж. Женщина. Анна Ивановна С. Тридцать два года. Домохозяйка. Арестована за антисоветскую агитацию — в деле донос соседей. Но в конце протокола была приписка, сделанная другим почерком: «Не колется. Симулянтка. Возможно, душевнобольная».

К. перевернул страницу. Там было письмо — написанное от руки, мелким, аккуратным почерком:

«Товарищ следователь. Я не знаю, что такое правда. Но я знаю, что Сталин — это не Бог. Он человек. А человек не может быть Богом. Я не хочу умирать. Но я не хочу врать. Если вы это читаете — значит, я уже умерла. Или ещё нет.

Я не знаю. Просто знайте: я не виновата. Я просто сказала, что думала. А думала я, что нам нужна свобода. Не та, что дают. А та, что берут».

К. перечитал письмо три раза. Потом положил его обратно в папку. Закрыв дело. На полях написал: «Недостаточность улик. Освободить. Рекомендовано наблюдение».

Он встал. Подошёл к окну. За окном светало. Строители уже работали — заливали бетон, месили раствор, кричали друг на друга. Стены росли. Тюрьма строилась.

К. сунул руку в карман. Нашупал скрепку — новую, целую, блестящую, с двумя идеальными овалами. Сжал. Боль была настоящей. Единственная правда в этом здании.

Он сел за стол. Открыл чистый бланк протокола. Написал: «Рапорт. За истекшие сутки по 4-му отделу УГБ УНКВД Московской области: поступило 47 дел. Из них: 3 дела отправлены на следствие, 1 дело прекращено за недостаточностью улик, 43 дела — требуют дополнительной проверки. Признательных показаний — 0. Применение мер физического воздействия — не применялось. Докладываю: метод К. продолжает работать. Правда не требует боли. Правда требует времени».

Он поставил подпись. Число не поставил — не знал, какое сегодня число. Закрыв папку.

В дверь постучали. Петров.
— Войдите.

Лейтенант вошёл. В руках — поднос с чаем. Горячим. Пар

шёл над стаканом.

— Доброе утро, товарищ К. Чай принёс. Свежий. Кипяток.

К. посмотрел на чай. Потом на Петрова. Потом на окно, за которым росла тюрьма.

— Поставьте на стол, — сказал он. — Я выпью.

Петров улыбнулся — широко, радостно, по-детски. Поставил поднос. Вышел.

К. остался один. Он взял стакан. Чай был горячий, обжигал пальцы. Он поднёс его к губам. Подул. Отхлебнул. Чай был горький, с привкусом металла — как вода из-под крана. Как правда. Как ложь. Как всё, что было, есть и будет.

Он поставил стакан обратно. Открыл следующую папку.

Сорок восьмое дело. Сорок восьмая жизнь.

Работа продолжалась.

Глава 17. Слухи, или Эпидемия честности

Слухи ползли по Лубянке, как сырость по стенам — медленно, настойчиво, просачиваясь сквозь щели между половицами и дверные косяки. Они начинались в курилках, где следователи младшего звена затягивались махоркой и перешёптывались, оглядываясь на коридор. Они разрастались в канцеляриях, где машинистки, склонившись над каретками, перебрасывались фразами вполголоса, не отрывая пальцев от клавиш. Они проникали в протоколы — тонкими намёками, недосказанными фразами, пометками на полях, которые никто не решался зачеркнуть.

«У К. колдуны», — шептали в коридоре четвёртого этажа.

«Нет, не колдуны, — поправляли в пятом. — Профессора. Он держит профессоров, которые читают мысли».

«Какие профессора? — фыркали в третьем. — Шарлатаны. Он просто научился нажимать на больное место. У каждого есть больное место. А К. знает, где нажать».

«Вы слышали? Он отпустил двоих. Двоих! Без признаний! Просто так».

«А этого, который актёр, — оставил гнить. Говорят, он сказал: "Пусть учится чувствовать"».

«Чувствовать? — переспрашивали недоверчиво. — А нам

что прикажете делать? Мы здесь, чтобы чувствовать или чтобы выполнять план?»

«План, план, — отвечали другие. — А план у нас двадцать расстрелов в месяц. У К. — ноль. Как он отчитывается?»

«Ежов прикрывает. Говорят, сам Сталин что-то подписал».

«Брехня. Никто ничего не подписывал. Просто у К. связи наверху».

«Какие связи? Он же был никем. Два года назад — рядовой следователь. А теперь — начальник сектора».

«Сектор, говоришь? А я слышал, скоро будет отдел. Его отдел. "Отдел истины"».

«Ох, доживём».

Слухи множились. Они ветвились, как трещины на старых стенах, и проникали в каждый угол Лубянки. Они не были правдой — они были её бледной тенью. Но в мире, где правда стала роскошью, даже тень имела вес.

Прошла неделя. Или две. К. потерял счёт дням — они слились в один бесконечный протокол, в одну бесконечную папку, в одно бесконечное утро. Он вставал, шёл в кабинет, открывал дела, читал, писал, отправлял на исследование, отпускал, возвращал. Работа не кончалась — она переливалась из одного дня в другой, как бетон в опалубке, застывая и расплываясь одновременно.

Инженер и Философ обустроились. Они сидели в соседней комнате — бывшей кладовке, которую К. приказал пе-

реоборудовать под «консультационный кабинет». Там стояли два стола, два стула, лампа с зелёным абажуром и койка для Инженера, который всё ещё не мог спать на жёстком. Философ работал над трактатом — писал по ночам, когда в коридорах стихали шаги и только где-то далеко, этажом ниже, мычали в камерах. Инженер учился говорить. Он произносил слова медленно, с трудом, как будто вытаскивал их из глубины, где они лежали годами.

«М-м-мост», — говорил он.

«Мост», — повторял К.

«Бе-бетон».

«Бетон».

«Пра-правда».

«Правда».

Инженер кивал. И в его глазах — тех самых, колодезных, глубоких — появлялось что-то, чего не было раньше. Не надежда. Не вера. Понимание. Он знал, что больше не один. Что его слышат. Что его мычание перестало быть просто звуком.

Но за стенами кабинета мир не менялся. Лубянка оставалась Лубянкой. И слухи продолжали расползаться.

В соседнем отделе — третьем секторе 4-го отдела, которым командовал майор Смирнов, — произошло нечто странное. Смирнов, человек с лицом, как у следовательской бланки, вдруг завёл «специалиста». Им оказался баптистский проповедник, арестованный ещё в январе по приказу

№ 00447 как «социально опасный элемент» и «церковник». По бумагам он проходил как «Никифоров-Петровский, бывший священник, лишённый сана в 1929 году». В деле значилось: «Вести антисоветскую агитацию среди верующих, призывать к сопротивлению колхозному строительству, распространять слухи о конце света». Приговор — расстрел. Но Смирнов оставил его. Не в камере. В своём кабинете.

«Почему он жив?» — спрашивали коллеги.

«Он говорит правду», — отвечал Смирнов.

«Какую правду?»

«О Боге. О душе. О том, что мы все — грешники».

«Грешники, говоришь? А Сталин?»

«Сталин — не грешник. Сталин — это... — Смирнов задумывался. — Сталин — это новый порядок. А порядок не может быть грешным. Потому что он — порядок».

Странная логика, но она работала. Проповедник сидел в углу кабинета Смирнова, читал Библию, переписанную от руки на папиросной бумаге, и «консультировал» на допросах. Он умел различать, когда человек говорит правду, а когда — грешит. «Грех лжи, — говорил проповедник. — Он гнездится в сердце. Я слышу его. Как в сердце человека — змея».

Слухи достигли ушей Безродного. Он хрюкнул, поперхнулся компотом и разразился проклятиями. «Смирнов сходит с ума! Проповедник! В кабинете НКВД! Это же анти-советская пропаганда!» Но Смирнов был осторожен. Он не

показывал проповедника проверяющим. Не упоминал его в рапортах. Просто держал в углу, как держат удачу. Или как держат талисман.

В другом отделе — шестом секторе — завели глухонемого. Его нашли в камере смертников, где он ждал приговора за «шпионаж в пользу Польши». Следователь — молодой, недавно назначенный лейтенант с горящими глазами — сказал: «Он не может врать. Он вообще не может говорить. Значит, он — идеальный свидетель». Глухонемой сидел в углу с блокнотом и карандашом. Он писал ответы на вопросы — короткие, односложные, как удары молотка. «Да». «Нет». «Не знаю». «Я не понимаю». И следователь верил ему. Потому что верить легче, чем проверять.

Слухи превратились в моду. Моду на истину. Моду на «специалистов», которые умеют различать правду. Моду на чистоту.

К. ужасался. Он смотрел на это с высоты четвёртого этажа, и ему казалось, что он наблюдает эпидемию. Эпидемию честности, которая расползается по Лубянке, как чума. Но чума не лечит — чума убивает. Истина не терпит тиражирования. Истина — это не товар. Это не мода. Это не метод, который можно скопировать. Это — состояние. Это — жизнь. Когда она становится мейнстримом, она умирает.

«Они не понимают, — сказал К. Философу. — Они думают, что правда — это техника. Как стенография. Или как арифметика. А правда — это не техника. Это — выбор. Каж-

дую секунду. Каждое слово. Каждый вздох».

«Они поймут, — сказал Философ. — Когда начнут умирать. Когда поймут, что правда не спасает — она открывает. Открывает то, что лучше было бы закрыть».

В столовой, куда К. спускался только по необходимости, к нему подсел Смирнов. Это был человек без возраста — его лицо, как у следовательской бланки, не имело морщин и не имело гладкости. Оно было просто — присутствовало. Как присутствует бумага, на которой ещё ничего не написано.

Смирнов сел напротив К., положил на стол поднос с кислём и куском чёрного хлеба. Кисель был жидкий, цвета утреннего неба. Хлеб — горьковатый, с примесью опилок. Лубянка кормила своих, но не баловала.

— К., — сказал Смирнов, не здороваясь. — Поделись техникой.

К. поднял глаза от тарелки. Каша была холодная, с подгоревшей коркой. Он не ел — просто водил ложкой по кругу.

— Какой техникой?

— Твоей. Как ты отличаешь правду от лжи. Мои подследственные — либо лгут, либо умирают. А лгуны умирают тоже. Просто позже.

К. посмотрел на Смирнова. В его глазах не было ни мольбы, ни угрозы. Только усталость. Такая же глубокая, как у самого К. Усталость человека, который слишком долго подписывал бумаги.

— Нужно просто перестать врать самому, — сказал К.

Смирнов фыркнул. Так фыркают люди, когда слышат нечто невозможное. Он поперхнулся киселём, закашлялся, вытер губы платком.

— Что значит «перестать врать»? Ты что, святой?

— Нет.

— Тогда как? Как ты можешь не врать? Здесь? На Лубянке? Это же место, где ложь — это работа. Каждый протокол — ложь. Каждый допрос — ложь. Каждый приговор — ложь. Мы все вруны. Мы — машина для производства лжи. И ты говоришь: «Перестань врать»?

К. положил ложку. Посмотрел Смирнову в глаза.

— Я не святой, Смирнов. У меня есть условие.

— Какое?

— Я заключил сделку. Если я совру — я умру. Не как все — физически. Я умру окончательно. Без права на возвращение. Без права на второй шанс.

Смирнов замер. Его лицо, бланка без возраста, на секунду стало живым. В глазах мелькнуло что-то — не страх, не зависть, а что-то третье. Может быть, узнавание.

— Ты говоришь серьёзно?

— Да.

— И ты веришь в это? В условие?

— Я не верю, Смирнов. Я знаю. Я видел Того, кто его поставил. Он курил трубку и говорил о вечности. И я вернулся сюда, чтобы выполнить условие. Или не выполнить.

Смирнов молчал. Долго. Так долго, что кисель в его ста-

кане покрылся плёнкой. Он смотрел на К. и не знал, что сказать.

— Ты сошёл с ума, — наконец произнёс он.

— Возможно.

— Или ты самый честный человек на Лубянке.

— Это одно и то же, Смирнов. Честность и безумие — это не разные вещи. Это одна вещь, просто с разных сторон.

Смирнов встал. Поднос с недопитым киселём остался на столе. Он пошёл к выходу, но у двери остановился. Обернулся.

— Знаешь, К. Ты прав. В одном.

— В чём?

— Перестать врать здесь невозможно. Это как перестать дышать. Но ты дышишь. Ты дышишь по-другому. И я не знаю, как у тебя получается.

— Я просто дышу, Смирнов. Не думаю. Просто дышу.

Смирнов кивнул. Вышел.

К. остался в столовой один. За соседними столами сидели следователи, машинистки, конвоиры. Они ели, пили, разговаривали. Но никто не смотрел на К. Как будто его не было. Как будто он стал призраком. Призраком, который ходит по Лубянке и дышит правдой.

Он встал. Подошёл к окну. За окном был внутренний двор — стройка, бетономешалка, рабочие. Стены росли. Тюрьма строилась.

Он думал о Смирнове. О его проповеднике. О глухонемом

в шестом секторе. О моде на истину. О том, что это — не победа. Это — начало конца. Потому что истина не может быть модой. Истина — это не то, что выбирают. Истина — это то, что выбирает тебя.

Он сунул руку в карман. Нашупал скрепку — целую, блестящую, с двумя идеальными овалами. Сжал. Боль была настоящей.

«Эпидемия, — подумал он. — Эпидемия честности. Она убивает не так, как чума. Она убивает медленнее. Но вернее».

Он вышел из столовой. Пошёл по коридору. За спиной остались слухи, шёпот, взгляды. Впереди — кабинет, папки, дела, протоколы. Бесконечная работа.

Он открыл дверь. Философ сидел за столом, перечитывал трактат. Инженер лежал на койке — спал или просто закрыл глаза. За окном кружились пылинки.

К. сел за стол. Открыл следующую папку. Следующее дело. Следующую жизнь.

Работа продолжалась.

Через три дня Смирнова вызвал Безродный. Он не вернулся. Говорили, что его отправили в «хозяйственную часть». Говорили, что он перешёл дорогу кому-то наверху. Говорили, что его проповедник оказался агентом «контрреволюционной организации» и дал показания на Смирнова. Говорили, что проповедника расстреляли в тот же день — без суда, без протокола, без галочки в ведомости. Истина,

как всегда, была неизвестна. Но слухи продолжали ползти.

Ещё через два дня лейтенант Петров доложил К., что глухонемого из шестого сектора перевели в камеру смертников. «Зачем? — спросил К. — Он же не может говорить». Петров пожал плечами: «Сказали — симулянт. Сказали — притворяется». К. хотел вмешаться, но было поздно — приговор уже привели в исполнение.

Лубянка оставалась Лубянкой. И в ней не было места для честности. Только для правды, которая умирает, когда становится мейнстримом.

Глава 18. Конкуренты, или Пир во время чумы

Метод Безродного давал сбои.

Это началось незаметно — как начинается всё на Лубянке: с цифры, которая не сошлась, с протокола, который не успели подписать, с трупа, который остыл быстрее, чем следователь успел поставить галочку в ведомости. Безродный сидел в своём кабинете на втором этаже, где пахло не карболкой, а чем-то более тягучим — формалином, старой кровью, железом, которое долго держали в сырости. Он перебирал бумаги и чувствовал, как статистика ускользает из рук.

«Конвейер» — так называли его метод на Лубянке. Допрос с пристрастием, поставленный на поток. Подследственного заводили в камеру, раздевали, начинали бить. Не в лицо — в рёбра, в почки, в суставы. Чтобы не было видно. Чтобы он подписал протокол до того, как потеряет сознание. Чтобы следователь успел заполнить бланк и поставить печать. Конвейер работал быстро. Эффективно. Безотказно.

Но теперь он давал сбои.

Тела умирали слишком быстро. Не от ран — от истощения, от холода, от того, что сердце, привыкшее к ритму лжи, не выдерживало правды, которую из него выбивали. Подследственные не успевали подписать протоколы. Они падали

на бетонный пол, захлёбывались собственной кровью, и их глаза закрывались навсегда — без признания, без протокола, без галочки в ведомости.

— Четвёртый за неделю! — орал Безродный на своих следователей. — Четвёртый! Вы что, не умеете считать удары? Я же учил вас! Три удара в грудь, пауза, два в живот, пауза, вопрос! И так — пока не заговорит! А вы, — он ткнул пальцем в одного из них, — вы бьёте как сапёры! Как будто хотите его закопать! А не допросить!

Следователи молчали. Они знали, что Безродный прав. Они били слишком сильно. Или слишком слабо. Или слишком часто. «Конвейер» разбалансировался. Ритм сбился. И теперь вместо признательных показаний они получали только трупы, которые нужно было убирать, хоронить, списывать в расход.

— А что К.? — спросил кто-то из следователей.

— К.? — переспросил Безродный. — К. не бьёт. К. слушает. К. кормит своих подследственных кашей и даёт им спать. И они признаются! Сами! Без протоколов! Без ударов! И вы знаете, что я чувствую, когда смотрю на его отчётность?

— Что?

— Стыд! — закричал Безродный. — Стыд и зависть! Потому что его метод работает, а мой — нет! Потому что его цифры растут, а мои — падают! Потому что Ежов теперь смотрит на меня и говорит: «А почему у тебя нет чистых признаний, Безродный? Почему у тебя одни трупы?» — и я

молчу! Я не знаю, что ответить!

Он рухнул на стул. Глаза его — всё те же, с влажной плёнкой, как у рыбы, которую слишком долго держали на воздухе, — налились кровью. Плёнка стала толще, непрозрачнее. Он смотрел на своих следователей и видел в их лицах страх. Не перед ним. Перед К. Перед методом, который работал без боли. Перед правдой, которая не требовала крови.

— Убирайтесь, — сказал он. — Все. Я сам подумаю, что делать.

Следователи вышли. Безродный остался один. Он сидел за столом, перебирал бумаги и чувствовал, как его мир рушится. Мир, построенный на ударах. Мир, где правда выбивается зубами. Мир, где ложь — это работа, а истина — это роскошь, которую можно позволить себе только мёртвым.

«Конвейер» давал сбои. И Безродный знал, что если он не исправит положение, его заменят. Как заменили многих до него. Как заменят многих после.

К. работал в своём кабинете на четвёртом этаже и чувствовал, как зависть и злоба текут по венам Лубянки, как горячий бетон по опалубкам. Он открывал дела, которые шли к нему валом — из четвёртого отдела, из третьего, из шестого. Следователи, услышав о его методе, начали передавать ему самые сложные дела. Те, где признания не было. Те, где последственный упорствовал. Те, где протоколы были пустыми, а улики — сомнительными.

Он сидел за столом и читал. Дело за делом. Протокол за

протоколом. Судьба за судьбой.

Дело № 1882. Механик завода «Красный пролетарий». Арестован за вредительство. Признался после трёх суток без сна. В деле — ни одной очной ставки, ни одного свидетеля, только шаблонные фразы, напечатанные на машинке: «Сознаю себя виновным в том, что...», «Добровольно даю показания...», «Никакого давления не оказывалось...». К. знал эту тактику. Он сам подписывал такие протоколы — в прошлой жизни. В той, что кончилась на трибуне.

Он взял карандаш. Вычеркнул показания. Написал на полях: «Признание не подтверждено. Отправить на следствие».

За дверью послышалось шарканье. Кто-то стоял в коридоре и слушал. К. поднял голову. Тень под дверью была знакомая — плотная, квадратная. Гнилозубов.

— Войдите, — сказал К.

Дверь открылась. Гнилозубов вошёл — нерешительно, как человек, который не знает, что сказать. Он стоял на пороге, переминался с ноги на ногу, и в его глазах — мутных, как у варёной рыбы, — читалась растерянность.

— Ты занят, К.? — спросил он.

— Как всегда.

— Я на минуту. Ты же знаешь, К., по приказу № 00447 нам нужны цифры. Расстрел или лагерь. Без вариантов. Сверху спускают планы — первая категория, вторая категория, контрольные цифры. Если мы не выполним план, нас заменят.

Ты понимаешь?

К. положил карандаш. Посмотрел на Гнилозубова. Тот стоял у двери, и в его позе было что-то новое — не угроза, не требование, а просьба. Просьба о снисхождении. О понимании. О том, чтобы К. помог ему сохранить лицо.

— Я понимаю, — сказал К. — Но я не могу подписывать ложь.

— Это не ложь, К. Это план. План — это не ложь. План — это необходимость. Ты знаешь, что будет, если мы не выполним план?

— Знаю. Нас расстреляют. Или отправят в лагерь. Или заменят. Но это не моя проблема. Моя проблема — правда.

Гнилозубов вздохнул. Глубоко, как вздыхают люди, которые уже всё решили, но ещё не знают, как сказать.

— К., я пришёл не требовать. Я пришёл просить. Помогите мне. Дай мне хотя бы несколько дел, которые можно закрыть по первой категории. Я не буду проверять, как ты их получил. Просто дай мне цифры. Я отчитаюсь. Ты продолжишь работать. И мы все останемся живы.

К. смотрел на Гнилозубова. В его глазах — мутных, затравленных — была та же усталость, что и в глазах Смирнова. Усталость человека, который слишком долго врал и теперь не знает, как перестать.

— Я не могу дать тебе цифры, Гнилозубов, — сказал К. — Я могу дать тебе дела. Настоящие дела. Те, где есть улики. Те, где есть свидетели. Те, где правда — не просто слово, а

факт. Но я не могу дать тебе ложь.

Гнилозубов молчал. Он стоял у двери, смотрел на К. и чувствовал, как мир рушится вокруг него. Мир, построенный на приказах. Мир, где правда — это враг. Мир, где честность — это роскошь, которую можно позволить себе только мёртвым.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я пойду. Но запомни, К.: когда они придут за мной, они придут и за тобой. Система не терпит исключений. Исключения — это ошибка. А ошибки исправляют.

Он вышел. Дверь закрылась. В коридоре затихли шаги.

К. остался один. Он сидел за столом и смотрел на папку дела № 1882. Механик. Вредитель. Признание. Три дня без сна. Шаблонные фразы. И ни одной улики.

Он взял карандаш. Написал в конце дела: «Рекомендация: прекратить дело за отсутствием состава преступления. Подследственного освободить. Наблюдение не требуется».

Он знал, что это решение — против системы. Знал, что Гнилозубов будет кричать. Знал, что Безродный уже собирает материал. Но он не мог иначе. Потому что правда — это не цифры. Правда — это не план. Правда — это то, что остаётся, когда заканчиваются слова. Или удары. Или протоколы.

Он закрыл папку. Открыл следующую. Дело № 1883. Железнодорожник. Вредительство. Тоже без улик. Тоже шаблонные фразы. Тоже признание, выбитое болью. Он вычеркнул показания. Написал: «Отправить на следствие».

Дело № 1884. Шпион. Тот же сценарий. Та же ложь. Тот же приговор, который уже был написан до того, как подследственный открыл рот.

К. работал. Не останавливаясь. Не поднимая головы. Он знал, что за дверью его ждут новые дела. Новые судьбы. Новые жизни, которые нужно спасти или погубить. И он выбирал спасать. Вопреки системе. Вопреки приказам. Вопреки логике.

«Ты же знаешь, К., по приказу № 00447 нам нужны цифры», — звучал в голове голос Гнилозубова.

«Цифры, — думал К. — Им нужны цифры. А мне нужна правда».

Он открыл следующую папку. И продолжил работать.

В тот же день Безродный вызвал к себе следователей из своего отдела и объявил новые правила. «Конвейер» менялся. Удары — не чаще двух раз в минуту. Перерыв между допросами — не менее часа. Вода — по требованию, но не больше стакана. И главное: подследственный должен подписать протокол до того, как потеряет сознание. Если он теряет сознание — его приводят в чувство и продолжают. Если он умирает — его списывают как «недостаточно обработанный материал».

— Мы должны работать чище, — говорил Безродный. — Тоньше. Как хирурги, а не как мясники. К. показывает нам пример. У него нет трупов. У него есть признания. И мы должны научиться так же.

Следователи слушали и кивали. Они знали, что это — не просьба. Это — приказ. И если они не научатся работать «чище», их заменят.

— А К.? — спросил кто-то. — Что с ним?

— К. — это временное явление, — сказал Безродный. — Система не терпит исключений. Исключения — это ошибка. А ошибки исправляют. Скоро у него кончится эта мода на честность. Скоро он поймёт, что правда не нужна никому. И тогда он станет таким же, как мы. Или его уберут.

Он говорил это, но в его глазах — влажных, рыбьих — не было уверенности. Потому что он знал: К. уже прошёл то, что не прошёл никто из них. К. уже умер. К. уже вернулся. И теперь он не боялся смерти. А человек, который не боится смерти, — самый опасный враг системы.

Вечером того же дня К. сидел за столом и перечитывал дело № 1885. Шпионаж. Подследственный — инженер-химик, арестованный по доносу коллеги. В деле — протокол допроса, подписанный следователем Сорокиным. Почерк — всё тот же, испуганный, бегущий вправо.

«Вопрос: Признаёте ли вы себя виновным в передаче секретных сведений иностранной разведке? Ответ: Не признаю. Я никогда не имел дела с иностранцами. Вопрос: Вас видели в ресторане "Метрополь" с человеком, говорившим по-немецки. Ответ: Я не был в "Метрополе". Я вообще не хожу в рестораны. У меня язва».

К. усмехнулся. Язва. Вот, значит, как. Человек не ходит в

рестораны, потому что у него язва. А его обвиняют в шпионаже, потому что кто-то видел его с немцем в «Метрополе». И этого достаточно, чтобы подписать приговор.

Он взял карандаш. Написал: «Алиби не проверено. Свидетели не допрошены. Отправить на следствие».

В дверь постучали. Два коротких, один длинный. Машинастка.

— Войдите.

М. вошла с новой стопкой папок. Лицо её было, как всегда, бесстрастным — но К. заметил, что она слегка запыхалась. Поднималась по лестнице. Или бежала. Или и то и другое.

— Товарищ К., — сказала она. — Ежов требует отчёт. По всем делам, которые вы отправили на следствие. Сорок семь штук. Срок — завтра утром.

— Я помню, — сказал К. — Я подготовлю.

— И ещё, — М. понизила голос. — Безродный написал рапорт. Гнилозубов подписал. Они требуют проверки вашего отдела.

К. поднял голову. В глазах М. — мутных, как у варёной рыбы, — он увидел что-то новое. Не страх. Предупреждение.

— Спасибо, — сказал он. — Я знаю.

— Вы готовы?

— Я всегда готов.

М. кивнула. Положила папки на стол. Повернулась к двери. У порога остановилась.

— Скрепку не забудьте, — сказала она. — Она всегда при-
гождается.

— Не забуду, — сказал К.

Она вышла. К. остался один. Он посмотрел на стопку па-
пок — сорок семь дел, которые он отправил на следова-
ние. Сорок семь причин для проверки. Сорок семь поводов
для ареста.

Он взял скрепку — целую, блестящую, с двумя идеальны-
ми овалами. Сжал. Боль была настоящей.

«Пусть проверяют, — подумал он. — Пусть смотрят.
Правда не боится проверок. Правда боится только одного —
чтобы её некому было говорить».

Он открыл следующую папку. И продолжил работать.

Через час телефон на столе зазвонил. К. снял трубку. Го-
лос Ежова — ровный, без эмоций — произнёс:

— Товарищ К. Жду вас завтра в десять. С отчётом.

— Будет сделано, — сказал К.

Трубка замолчала. К. положил её на рычаг. Посмотрел на
часы на стене — они не шли. Посмотрел на кипу папок —
сорок семь штук. Посмотрел на скрепку в своей руке — це-
лую, блестящую, с двумя идеальными овалами.

«Завтра, — подумал он. — Завтра всё решится. Или не
решится. Или решится, но не так, как я жду».

Он открыл чистый бланк. Начал писать отчёт.

Глава 19. Подставной, или Человек, который умел врать.

Безродный готовил удар три недели. Он собирал материал методично, как коллекционер — по крупичкам, по ниточкам, по обрывкам протоколов, которые К. не подписал. Но одних бумаг было мало. Нужен был живой свидетель. Живой человек, который докажет: метод К. — фикция. Консультанты — шарлатаны. Правда — это не то, что можно услышать. Правда — это то, что можно выбить.

И Безродный нашёл его.

Актёр Малого театра Григорий Северцев был арестован в марте 1937 года по доносу коллеги — характерная история: зависть, борьба за роли, анонимка в НКВД. В доносе значилось: «Северцев неоднократно высказывал недовольство политикой партии в области искусства. Говорил, что социалистический реализм душит талант. Называл спектакль "Мой бедный Марат" идеологически вредным». Этого хватило. Северцева взяли в гримёрке, прямо во время антракта, — он стоял в костюме Хлестакова, с накладным носом и париком, когда двое в штатском вошли и сказали: «Гражданин Северцев, пройдёмте».

Полгода он провёл в камере смертников — без допросов, без протоколов, просто ждал, когда про него вспомнят. И

Безродный вспомнил. Он вытащил актёра из камеры, привёл к себе в кабинет и предложил сделку.

— Ты сыграешь одну роль, — сказал Безродный. — Роль человека, который ищет правду. Ты будешь врать. Много. Убедительно. Как на сцене. Если К. поверит тебе — его метод дискредитирован. Я получу повод для проверки. Ты получишь жизнь. Если нет — вернёшься в камеру. И будешь ждать расстрела.

Северцев слушал и молчал. Он был профессионалом. Он знал, как дышать, как плакать, как трястись, когда это нужно. Он знал, что искусство — это ложь, которая становится правдой на глазах у зрителя. И он был готов лгать.

— Я согласен, — сказал он.

Безродный хрюкнул — это означало смех. И начал готовить спектакль.

Дело было сфабриковано по всем правилам. Обвинение — по статье 58-10, часть 1: контрреволюционная агитация. Безродный лично продиктовал текст фальшивых листовок — машинистка из его отдела, немолодая женщина с поджатыми губами, напечатала их в трёх экземплярах. Подписи свидетелей, которых не существовало, были поставлены рукой самого Безродного — он умел подделывать почерк. Дата ареста, время, место — всё было продумано до мельчайших деталей.

Северцев должен был сыграть убеждённого троцкиста, который не признаётся до последнего, а потом «ломается» и

выдаёт правду. Сценарий был прост: первый час — отрицание, потом — слёзы, потом — дрожащий голос, потом — признание. Классическая трёхактная структура. Как в театре. Как у Станиславского. «Не верю», — говорил Станиславский. «Поверит», — отвечал Безродный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.